

... **В**от чего она никак не могла понять — почему ее так называли? Нэли, думала она, должны жить в городах, носить шикарные платья, ходить в туфлях на высоких каблуках. А она? Как села в шесть лет в первый раз доить корову («Ты пальчики-то кулачком, кулачком складывай, — приговаривала стоявшая рядом мать, — так подоишь скорее, а устанешь меньше»), так и тянет буренок за дойки до сей поры. Пока росла, доила одну Зорьку. А когда в колхозе дояркам стали живые деньги давать, бабушка сказала: «Нэля, да все колушки голые стоят», и она поняла, что надо идти на ферму.

Она и замуж пошла, когда велели. Замуж позвал казак — усатый, чубастый. Как занесло его в их деревню? Но вот занесло, и родители сказали: раз зовет — иди. Пошла. Родила Томочку...

А потом все стало рушиться — и в личной жизни, и в колхозной...

Машина катит-бежит по асфальту, и она, угнездившись в кресле, то ли жизнь свою перемалывает, то ли просто дремлет. После капельницы подремать даже необходимо — говорят врачи. Ну, и чего бы ей не последовать их совету?

Толик понимающе молчит, и она, блаженно закрыв глаза, блуждает мыслями по своей жизни — то вперед забежит, то назад.

...Да, личная жизнь у нее рухнула даже раньше, чем колхозный строй. И в этом было ой какое важное преимущество: она успела выхлопотать у председателя колхоза квартиру — финский домик. У домика было столько недоделок, что брать его никто не хотел, а она была рада и такому: только бы ноги поскорее от казака унести. Сколько можно: шла с фермы и не знала, то ли дома будет спать, то ли в сараюшке. Во хмелю ее казак бывал не просто буен, но еще и зол — сколько раз ножом поигрывал-угрожал. Вот она и приспособилась: дочку — к матери, а сама — в сараюшку...

На ноги Нэли упал теплый плед. Толик заботится...

Господи, и что бы она делала в своей несчастливой жизни, если бы не Толик?..

В первый раз он к ней подошел, когда она еще замужем за своим чубатым была. Соседи пригласили их на свадьбу сына. Нарядились, пошли. Супружник быстренько загрузился по маковку, затеял драку: ну, кто тут против казака?! Нэля поняла: надо потихоньку утекать домой, и лучше сразу — в сараюшку. Тут к ней и подошел Анатолий:

— Нэль, пойдем прогуляемся?

В голове пронеслось: неженатый... непьющий... среди сельчан трудягой слывет...

— Да как же я пойду, скажи на милость? Я, как-никак, мужняя жена...

Вот именно: как-никак, — усмехалась горестно, пока шла домой.

Во второй раз Толик подойдет к ней через... пятнадцать лет. Нэля, уже разведенка, соберется с подругой на базар — платки продавать, и Анатолий подвезет женщин до города. Когда они станут возвращаться назад, как-то нечаянно снова окажется на их пути:

— Садитесь, девчонки. Где взял, там и положу.

Подружка выйдет из машины первой. Когда доедут да Нэлиного дома, водитель поинтересуется:

— Ну, как — довольна своей квартирой?

На этот раз Нэля не станет отнекиваться:

— А ты иди да погляди!

Толик пройдет по всем трем комнатам (зала, спальня, кухня), и удивится:

— Вы что же — все с лампой, как при царе горохе, живете? Ну, значит, первым делом надо проводить электричество.

И на другой день он, колхозный (тогда еще колхозный) электрик, придет с мотком проводов. А потом подобьет потолок. Застелет черновые полы линолеумом. Нэля смотрела на все эти преобразования и глазам не верила. Бывало, едет народ на сенокос — все бабы с мужьями, а ей муж в кузов машины узелок с едой подает. Навоз убирать — тоже она, корову доить — само собой, огород копать — бери, Нэля, лопату. Заикнешься о помощи — ответ один: «Раба из меня хочешь сделать? Не выйдет! Я — казак вольный...»

А потом пришло такое время, что вольными стали все. По телевизору один треск шел: все про свободу да какую-то там толерантность толковали. У них в колхозе тоже свобода началась: коров принялись резать. Нэля, когда узнала об этом, не поверила, побежала на ферму. Глядит — буренок по сходням в грузовую машину грузят. Доярки стоят молча, слезыньки утирают. А Нэля с ходу, сдуру, принялась орать: «Вы что — очу-

мели?» Ветеринар отвел глаза в сторону: «За долги расплачиваться будем». — «Какие долги? — продолжала орать, сама как резаная, Нэля. — Всю жизнь горбатимся, света белого не видим, и вдруг кому-то задолжали? Да где это видано, чтобы колхоз без дойного стада остался?» — «Не колхоз уже — товарищество. С ограниченной ответственностью». — «Сами вы с ограниченной ответственностью!» — в отчаянии прокричала Нэля в последний раз и тоже заревела...

Как побитая устало плелась потом домой. И только тут поняла: а ведь она теперь без работы осталась. И Анатолий — то ли понадобится в этом ограниченном хозяйстве, то ли нет. И — как же жить дальше?

Всю-то ноченьку они мараковали об этом с Толиком и к утру решили: к одной корове, которую Нэля держала всегда, придется докупать еще две. Молоко, сметану, творог — на базар. Тогда хватит и топку купить, и за электричество заплатить, и Тому — уже, считай, невесту — одеть-обуть по-человечески.

Этой же ночью Толик сказал ей: мы хоть и не молодые, Нэль, без свадебных торжеств обойдемся, но оформить отношения нам надо. Чтобы все как положено: я тебе — муж, ты мне — жена.

На другой день отнесли заявление в сельсовет. Расписались. Нэля наконец-то перевела дух: кажется, и на ее улицу праздник пришел.

Пришел, да — недолго длился... А только до той поры, как прибежала однажды Томочка в слезах и призналась: жду, мол, ребеночка. Жених к себе на родину уехал, родителям о переменах в жизни объявить, да там и застрял. Ни письма, ни звонка...

И опять Нэля ночь не спала. Задавала себе один и тот же вопрос: это какие такие дети — без отца? С ума сошла? А народ-то, народ... все языки обобьют...

И утром раненько велела Толику везти ее в город. Пошла к знакомой врачихе, та ее к своей знакомой повела, и договорились они с той врачихой честь по чести: Нэля привозит дочь — якобы для осмотра, а там, без лишнего шума и слов... должна же и она понимать — какие такие дети без отца... А Тома, как поняла, зачем ее на кресло положили, соскочила с него да бежать. И не появилась дома ни вечером, ни ночью...

И опять Нэля всю ночь сверлила глазами потолок. Господи, как она могла... Это не Тома — это она с ума сошла, что придумала такую казнь для родной-то дочери...

И утром опять: вези, Толик, в город.

Она пришла тогда в церковь раным-рано — служба еще не началась. И как упала на колени перед иконой Николая Угодника, так и окаменела. Забыла и про больные колени, и про негожий позвоночник — только слезы текли и текли по лицу. Сколько она так стояла... Очнулась от чьего-то прикосновения. Повернула голову: батюшка:

— Вставай, вставай...

Батюшка провел ее мимо народа, стоявшего плотной кучкой на исповедь, поставил перед аналоем:

— Ну, рассказывай.

Мокрота пуще побежала из глаз, но батюшка твердым голосом приказал:

— Хватит слезы лить. Говори.

И она откуда-то набралась сил, передохнула и все-все, по порядку... Батюшка (нестарый еще, крепкий, борода старинного крою) спросил:

— Все поняла?

- Дура я старая... От людей забоялась: начнут языками чесать.
- Каешься?
- Каюсь, батюшка, каюсь... Сыми грех...
- Снимать теперь долго будешь. Сама. Я только помочь могу...

Как в воду батюшка глядел. Сама! Сама!.. Но это она потом начнет понимать, а тогда вышла из церкви, как пьяная, ничего не видя, не слыша вокруг. На ватных ногах дошла до Толиковой машины, упала на сиденье: вези домой... Вот как сегодня.

Сегодня в больнице дежурила Рита, Толикова сестра. Уложила заботливо ее на койку, поставила капельницу, и закапало в Нэлю лекарство. И пока оно капало, и потом еще, часа два, спала Нэля непробудным, глухим сном, а очнувшись, услышала соседкин вздох:

— Вот так и лечимся. Встала, поди-ка, в четыре?

— А как же, — тихо, словно самой себе, отвечала Нэля. — Подоила, процедила, разлила по банкам. Потом на базаре стояла.

— Ногам-то легче? Позвоночнику?

Нэля заставила себя пошевелиться:

— Да вроде как.

И тут же подхватилась:

— Развалилась, как барыня. А то дел мало.

— Полежала б хоть денек, как положено. Хотя в больнице-то.

— Не-е, это вам, городским, можно. А нам, деревенским, некогда: огород надо полоть, сено косить. У Милки, Красотки, Рябки больничного не попросишь...

— Толик, а помнишь, как Тома домой пришла?

Толик скосил на нее глаза:

— Ну, как ты думаешь, Нэль...

Тома явилась на другой день, когда она уже все глаза проглядела, проплакала, проклиная то себя, то этого залетного жениха, смутившего ее девчонку. И вела себя Тома решительно: покидала в чемоданишко бельишко, платишки, да и пошла к порогу. На все ее «куда, зачем», на все ее «прости Христа ради» только и сказала:

— Не бойтесь, не пропаду. А здесь жить уже не сумею.

И вышла...

Потом уж Нэля узнала: уехала Тома в город вместе со своей подружкой, Алькой Проньрой. Вот уж у кого прозвище точно выражало характер. Алька уже год как жила в городе; домой, к родителям, наезжала редко, зато являлась во всей красе: юбка на ней — шарфик на иной шее шире, голова в кудрях, в наманикюренных пальчиках тонкая сигаретка.

Страхивая пепел с этой сигаретки, она потом и рассказывала Нэле про Тому:

— Не беспокойтесь и не переживайте. Живем на квартире вместе, работаем в одном кафе. Только я официанткой, а Тома пока на кухне. Но я и ее переведу, дайте срок.

— А как она... ходит-то...

— Да пока ничего и не заметно, — эффектно стряхивала пепел на сторону Алька. — Дура, конечно, вы ей правильный вариант предлагали.

— Да нет, это я дура... Только уезжать ей было не след.

Алька опять ударяла пальчиком по сигаретке и закатывала глаза под наклеенные ресницы:

— Теть Нэлю, вы не замечали, что мы уже выросли и вправе принимать собственные решения. Подумайте на досуге...

Досуга у Нэли из-за круговорота дел не образовывалось, но думала она постоянно. Она вообще жила как в обмороке: руки дела делают, а мысли сами по себе крутятся в голове. Вот она росла... да ей в голову не приходило родителям перечить! Сказали, иди на ферму — пошла, сказали, замуж пора... Нэлю аж передернуло от воспоминаний о первом муже. И едва ли не впервые в жизни пришла ей в голову крамольная мысль: а-а, голу-бушка... может, тут-то можно было не послушаться? Может, есть какая-то правда в Алькиных словах?

— Толик, ты чего так долго не женился?

— Тебя ждал.

— Да прямо уж...

— Нэль, сама знаешь, девок в селе раньше много было. А сердце хотело... тебя одну.

— Ты прямо как поэт говоришь... А что ж раньше-то молчал?

— Пока сказать собирался — тебя за казака отдали.

А и правда — отдали. Сама бы сроду за него не пошла...

А Тома? Она ведь сама выбирала, ее никто не принуждал. Нэля только и сказала, когда почувяла, что девка влюбилась: смотри, дочь... парень-то приезжий, да и не нашей национальности... кто его знает... Видно, любовь оказалась сильнее распуждений.

Тома приехала аж через год, с синеньким свертком в руках.

— Вот, внучек вам... нате...

Нэля сначала перепугалась: как — нате? Она уж и забыла, как в пеленки дитя пеленать. Сумеет ли, осилит... Потом обрадовалась:

— А и правда — оставляй. Станешь свободной — скорее замуж выйдешь. Тогда и к себе заберешь.

— Замуж? — остановила на ней красивые, но уже какие-то чужие глаза, Тома. И тихим, но таким же чужим голосом добавила:

— Замуж-то зачем?

— Как же... так уж устроена жизнь.

Тома перечить не стала, но как-то так пожала плечами, что стало понятно: слова матери прозвучали впустую.

И стала Нэля вспоминать, как растить дитенка: кормить, поить, купать, одевать. Когда более-менее вошла в колею, в ее голове всплыла эта фраза: «Замуж-то зачем?» Стала ломать голову: почему Тома так сказала? Какой-то нехороший, тревожный смысл был в дочкиных словах, но какой именно — Нэля понять не могла.

Пробовала заговорить на эту тему с Толиком.

— Да не майся ты. Ну, сказала и сказала. Обожглась девка — вот и боится теперь замужества.

Боится? Нэля была бы рада согласиться с этим. Но чудилось ей, что причина не только в этом. Чудилось ей, что есть, завелась на земле какая-то сила, которая режет семьи напополам, отделяя детей от родителей. Что это за сила, откуда, с чьей подачи она появилась — этого ей ни разгадать, ни понять не дано. Ей известно только, что не одна она мучается этой мукой: невозможностью понять свое дитя. Они, дочки да сыночки, насмотрелись нынешних фильмов, где самое сокровенное — напоказ, а если напоказ — это уже не сокровенное, это уже грязь. Они слушают непонят-

ные выншенные песни: рот певцы разевают широко, поют громко, а душу не трогают. Все летит мимо души, ее не задевая. Или вот эти передачи по телеку — там серьезные, солидные с виду дядечки тоже орут, тоже чего-то доказывают, но хоть бы что в мозгах или душе застряло. Тоже — мимо... Или она не так все понимает? Вот Алька... Алька, кажется, пытается ее вразумить. В очередной свой приезд дочкина подружка (раньше они и дружили-то не особо, а теперь не разлей вода) выдала фразу:

— Теть Нэль, вы чудные какие-то. Вы не просто старые, вы — устаревшие люди. Устаревшие в своих понятиях.

— Это как? — проглотив обиду, силясь понять Нэля. — Ты растолкуй.

— Да что тут толковать? Тома девка красивая? Красивая. Мужики вокруг нее хорОВОМ вьются.

— Ну, дальше.

— Пришел — ушел, — да красота-то какая! А будет постоянный... это же хомут на шею! Готовь, стирай, убирай... И на хрена? Извините, конечно, за грубость.

Нэля все готова была извинить, только бы — понять. И дождавшись отъезда Альки, отправилась к ее матери. Та пригласила ее к столу, предложила чаю. Но Нэля села на табуретку у порога: какие тут чаи, когда душа — на разрыв?

— Надь, выросли наши девки — и как не наши стали. Или у вас по-другому?

— Какое по-другому! Я уж только молчу...

— Вот те раз... Ну, а почему, Надь, так случилось-то? Ты все-таки бухгалтером в колхозе была, книжки читаешь, телевизор смотришь. Значит, больше меня должна понимать.

— Тут не бухгалтерам разбираться надо...

— А кому?

— Если б я знала.

— Я вот думаю: словно кто специально разводит нас...

— А и разводит... Вот недавно включила телевизор: дай, думаю, отдохну от огорода. Идет кино. И там этот артист-то... носатенький такой... я его прежде уважала... А тут гляжу — штаны приспустил, и ну ее, бабенку-то... прямо на столе...

— Твоя дочь сказала бы сейчас: старые вы ханжи.

— Так бы и сказала. А ведь подумать: сколько людей на него смотрят, на того артиста: это ведь все равно, что перед всей страной штаны-то снимать... И чего молодежи остается думать? Ему — знаменитому — можно, а нам — нельзя? И это ведь из одного кино в другое, из одного в другое...

— Я редко газеты в руки беру, Надь. А тут села чай пить, развернула... Политику пропустила — пусть Толик читает, а на маленькой такой заметочке с картинкой глаза остановила. Две зверушки там сняты, в зоопарке живут. И вот пишут про них, что родился у них детеныш. Десять лет работники зоопарка ждали этого события, да все напрасно. А он родился — знаешь, почему? Потому что карантин объявили, и людей в зоопарк пускать перестали. Вот они и воспользовались моментом... И получается: зверушки стыдливее людей оказались. А, Надь?..

Они не заметили, как на пороге появилась Алька.

— Проблемы нравственности обсуждаете? Извините, нечаянно подслушала. И вот что скажу: опять вы показали свою отсталость, дорогие предки. Зверушки — существа безмозглые. А фильмы снимают режиссе-

ры — умные люди. Они воплощают художественные замыслы — вам понятно? И если для этого требуется снять сексуальную сцену — талантливый артист на это с милой душой пойдет. Ой, да что вам объяснять, все равно ничего не поймете. Живете тут, как в погребее...

Надежда молчала, а Нэля (своей дочери тоже не решилась бы сказать) выпалила вдруг:

— Да какие ж тут замыслы? Тут одна похабень. И кончается она одним: схлеснулись — и разбежались. А ведь у нее-то потом дитенок может родиться. Одной дитя поднимать — это каково?

— Почему одной? — сощурила хитроватые глаза Алька. — Вы с дядей Анатолием вон как хорошо подклучились.

Ох, Алька, ох, Проныра... Но ведь в самую точку! Мама про сына, считай, и не вспоминает. Алька приезжает в село редко, а Тома — еще реже. И что удивительно — к ребенку и не тянется. Неужто это она когда-то убежала оттуда... с кресла? — вопрошала себя Нэля по дороге домой. И тут же привычно начинала грызть себя: дочь у нее плохая... А она сама — лучше? Не она ли задумала тогда... дура, дура!

А сынок рос да рос. Они с Толиком его так и звали: сынулей, и редко по имени — Андрейкой. Пришел срок — пошел в школу. Учился хорошо, бабу с дедом не огорчал. Тома к тому времени стала приезжать к ним все же почаще. И — что удивительно — приезжала каждый раз какая-то другая. Сначала пугала сходством с Алькой: юбка — той же длины, кудрей нет, зато закрыла глаза длинной челкой — не заглянешь в них. И — страшно сказать — курить начала. Пепел стряхивает — ну точно как Алька: руку откинет в сторону, наманикюренным пальчиком по сигаретке стук, стук — небрежно так...

Нэля, как и Надя, боялась такой дочери, робела с ней говорить. Та тоже была не слишком разговорчивой. Невесело взглядывала из-за челки на сына. Однажды обронила: «Хорошо хоть внешностью в нашу родовую пошел — волос светлый, глазки открытые...»

Обрадованная начавшейся беседой, Нэля отважилась спросить:

— Что — все одна?

— А на черта они мне сдались? Так спокойней, — бодро, точно подруга Алька, ответила дочь. «Вот и поговорили», — привычно огорчилась Нэля. Только ей помстилось: что-то за этой бодростью дочка скрывает. И потому ее словам не поверила. Но спрашивать, лезть в душу больше не стала...

В городе у Тома уже была надежная работа, квартира. И как-то раз она заикнулась даже: поехали, мол, сынок, в город. Вместе будем жить. У Нэли сердце через раз стало стучать... Но сынуля, поглядев на них с дедом, уклончиво ответил: нет, не сейчас... на другое лето... нет, лучше зимой — летом в селе хорошо... Тома вздохнула. И Нэля была рада-раде-хонька: и такому ответу Андрейки, и тому, что Тома вздохнула. Вздохнула по-человечески, как раньше...

Без Андрейки Нэля с Толиком теперь и жизни не представляют. Не в третьем ли классе дед купил ему топорик: какой ты будешь мужик, если дров не сумеешь наколоть? Пришел срок — приучил мальчишку к косе: для трех коров сена много надо. А доить буренок он вызвался сам: сначала вроде ради смеха, ради прикола, как они теперь говорят, а потом втянулся всерьез.

Вот и сейчас...

— Толь, ты гляди, гляди...

Они повернули в свой проулок и сразу увидели Андрейку: стоит себе в бандане (кто из парней ради моды носит, а он по производственной, так сказать, необходимости — чтобы волосы доить не мешали), стоит и машет рукой: привет, мол! А как подъехали к дому, объявил: коров подоил, картошку пожарил.

— Это не дите, а чудо какое-то, — тихонько, про себя (чтобы не сглазить) бормочет Нэля. И вдруг хватается за сердце: на крыльцо вышла Тома. И вот уже вместе они заходят в дом, разбирают сумки. На столе, как и сказал сынуля, сковородка с жареной картошкой, нарезанная Томиной рукой колбаска, сырок. Нэля скоренько разогрела кастрюлю борща...

Сели обедать. Взрослые приняли по рюмашке; хотели плеснуть чуток и сынуле, но тот заявил: маловато будет! А когда сраженная Нэля с открытым ртом замерла, рассмеялся: ага, испугались!

А Тома сидела молчаливая. Чего молчала? Какую думу думала? И вдруг наклонилась в Нэлину сторону и выговорила — тихонько-тихонько, чтобы только ей одной было слышно — невероятные слова:

— Мам, а ты знаешь, что ты счастливая?

— Кто? — не сразу поняла Нэля. — Это я, что ли?

Она в растерянности поглядела на своих мужиков, дружно работающих ложками. И неожиданно смело сказала:

— А что? С такими-то орлами...

И дальше:

— Вот кончу свое лечение, откапаюсь, и закатим мы праздник!

В праздники Нэля любит нарядиться, одеть в чистое и красивое своих мужиков, наготовить еды вдоволь, а потом и соседей пригласить. Потому что песни петь — известное дело — лучше хором. Ее любимые — не нынешние, а про оренбургский пуховый платок, про рожь высокую. А еще — та, что от бабушки слышала:

Ой, да ты кали-и-нушка,
Ой, да ты мали-и-нушка,
Ты не стой, не стой
На горе круто-о-й...

Хотя если подумать... Где же ей стоять, калинушке, когда все горки у нас крутые? И укатывают они порой... ох, как укатывают! Но стоит наша калинушка-малинушка: гнется, да выпрямляется, гнется, да выпрямляется. И чудится Нэле, что нигде — в целом свете — нет больше такой калинушки...

— Приедешь, Том?..

МОРМЫШКА

— Она нашла себе забаву? Ей что, мало сына и внуков?

— Алин...

— Что Алин, что Алин! Смотреть противно. Стареющая тетка и юный паж.

И после паузы:

— Тут тебе и муж, тут тебе и паж. Все при ней...

Дина изо всех сил прислушивалась к тому, что прозвучит дальше. Но за стеной повисло молчание. А молчание, как известно, знак согласия. И... что теперь делать ей?

- Ребята, поехали домой.
- Дин, ты чего? Зачем в ночь-то? — пробовал возразить муж.
- Поехали, ребята!

За рулем, как всегда, она, Динка. У мужа-географа плохое зрение, у юного пажа нет прав. Так что — она...

Ехать было непросто. И не потому, что ночь, что поток машин и в это время суток достаточно плотен — отдохнувший на юге народ спешит вернуться домой. Трудно потому, что душат слезы. Олег, сидевший на переднем кресле, опять пробовал ее остановить:

— Не захотела оставаться у сына, так давай переночуем в кэмпинге. Нельзя же так. Ты хоть дорогу-то видишь?

— Проблемы со зрением у тебя. А я сейчас успокоюсь. Ты же знаешь, я скотина выносливая.

— Вы не скотина. Вы — женщина!

Вот подал голосок и сидящий сзади паж... Но никого из них она слушать не будет.

— Ребята, подушки у вас под боком. Положите их на плечико, головку набок — и дрыхните... Я уже в порядке.

Ей главное — начать о чем-нибудь думать. Что-то вспоминать. Держать в голове только дорогу — это не для нее, это ее расслабляет.

Она будет вспоминать больничу. И не потому, что ей так уж нравится это учреждение, а потому, что такого рода воспоминания будут не расслаблять, а мобилизовывать. И тело, и психику. А кроме того — началось то все как раз там...

В больничу она, надо признаться, попадала регулярно — хронический бронхит. Вот и этой зимой...

Народ в палате подобрался хороший: две Любани — большая и маленькая (разница была не в росте, а в весе: большая скопила в себе килограммов под девяносто, маленькая — едва под пятьдесят), вальжная, томная блондинка Татьяна и Ленусик (женщина немолодого возраста представилась так сама). Каждая лечила свое и, к счастью, на этом не закидывалась. Они как-то сразу избрали хохмаческо-иронический тон по отношению к своим хворям. Двум Любашам, например, она сказала сразу:

— Чего приперлись-то сюда? Давление сейчас у всех. Давно бы уж подобрали себе таблетки.

— Подходящие именно вам, — назидательно поддержала ее вальжная Татьяна. И попутно дала совет еще и Ленусику, загремевшую в больничу с поджелудочной железой:

— А ваш рецепт лечения, милая дама, еще проще: голод, холод и покой.

— Да мы, кажется, и без врачей способны обойтись, — отозвалась Ленусик. — Может, правда — по домам? А что касается голода, так я уже третий день не ем. Хоть в балерины.

— Еще чего. А кто свет выключать будет?

— А никто, — дверь неожиданно открылась, и в ней появилась дежурная сестра. — Принимайте шестого, аборигены.

Шестого, точнее, шестую, привезли на каталке. Ею оказалась маленькая, сморщенная — в чем душа держится — старушка. Ее положили по соседству с ней, Диной, и она волей-неволей разглядела новопривыкшую повнимательнее: руки — сухие, черные, перевитые венами, да и вся старушка — кожа да кости.

— Бабуль, сейчас укольчик сделаю — и до утра, — объявила сестричка. Та в ответ только слабо махнула рукой.

Сделав укол, сестра выключила свет и пожелала всем спокойной ночи. Ночь и вправду прошла спокойно. Утром она потрогала бабуку, лежащую все так же неподвижно, за руку:

— Бабуль, живая?

— Живая, — еле слышно донеслось из-под одеяла.

— Вот и хорошо.

И всем сразу стало не до бабуки. Надо умыться, причесаться, заправить кровать — словом, приготовиться к обходу докторов. Больничный день начался...

Ольга Николаевна пришла, как всегда, без опоздания, всех осмотрела, всем прощупала животы, померила давление. Внесла поправки в назначения. Бабуле сказала:

— Постельный режим. Уколы по схеме. И побольше кушать.

Какое там кушать... Все утро бабука пролежала, не открывая глаз. А ближе к обеду...

Ближе к обеду в палату вошел мальчик-старшекласник. И тут началось чудеса.

Перво-наперво парнишка принялся бабуку раздевать. Всю. Догола.

— Эй, эй, — забеспокоилась Люба большая. — Ты чего?

— Не волнуйтесь, — улыбнулся пришелец. — Я бабушкин внук. Будем приводить себя в порядок.

И парнишка взялся протирать бабушку влажными салфетками. Обитательницы палаты смотрели на это действие, раскрыв рты: спинка, живот — это еще понятно, но когда парень принялся протирать бабушке пальчики — сначала на руках, потом на ногах... а потом надел на бабулю чистую рубашечку... а потом повязал на голову белый платочек — тут уж все зашмыгали носами. Это кино? Или что? Где это видано — чтобы мальчишка... когда они нынче только и умеют, что у компов сидеть... И ведь, кажется, даже не брезгует...

У Любы маленькой вырвалось:

— Ты... где научился-то?

— Я давно так за бабушкой ухаживаю, — объяснил внук. — У нее что-то с ногами. А теперь вот еще и простыла.

— Обед, обед... — бодро донеслось из коридора. Мальчишка принес тарелки, покормил бабулю с ложечки, протер ей рот салфеткой. А в заключение... в заключение поцеловал в морщинистую щеку: «До завтра, бабуль!»

Они все — две Любани, Татьяна, Ленусик — тут же окружили бабуку:

— Бабуль, признавайся: откуда у тебя такой внук? — Дине, как соседке по кровати, и вставать не пришлось: лежала и слушала. Чистенькая, повеселевшая бабка была нынче побойчее, принялась потихоньку рассказывать. Оказалось, что ей вовсе не сто, как они решили, а всего семьдесят шесть лет. А в шестьдесят дочка привезла ей месячного сына, ее, стало быть, внука: «Мне, мам, сессию надо сдавать. А сам запил. Я постараюсь быстро». Но ни быстро, ни медленно у дочери не получилось: бабка знает только, что нашли дочку дома, в луже крови. Поехать на похороны с малышом (совсем же кроха) она не могла — дочка жила неблизко. А зять с той поры как в воду канул: ни звонка, ни письма.

— Ну, прямо детектив, — не выдержала Люба большая. А Ленусик потрясенно выдохнула:

— Так что — он так и не объявился, отец?

— Так и не объявился, — вздохнула бабка. — Правда, от людей знаю, что живой-здоровый, хотя пить и не бросил. Мало того, опять женился, новых детей завел. А про этого и не вспоминает. Будто его и нет...

— Ишь, разговорились. А процедуры? — вернула всех к реальности вошедшая в палату сестричка.

И день пошел своим чередом. Уколы, процедуры, тихий час... Но к вечеру все опять собрались у кровати бабули.

— Вы где живете-то? — начала обстоятельные расспросы большая Люба.

— Да в поселочке. Там общежитие есть, еще до войны построили. Барак, словом. Только мы да еще две семьи живут. Остальные нашли место получше.

Бабка помолчала, а потом поделилась самым печальным:

— Печка у нас этот год порушилась. Мерзнем, на стенах иней. Вот и простыла.

— А на какие шиши живете? — продолжала допрос Люба.

— Дак пенсия.

— А опека?

— Не хочу, девки. Начнут документы оформлять, да и заберут мальчишку в детдом. А я не хочу. И он не хочет. Привыкли друг к дружке...

Люба большая еще продолжала о чем-то спрашивать, а она уже прикидывала: ну, подлежат бабку; а потом ей опять — в холод, где иней на стенах? Так опять простыть недолго. А у бабки, похоже, не просто простуда, а воспаление легких. Значит, прежде всего, надо печку в порядок приводить. Ее географ, хоть глобуса и не пропивал, и голова на плечах у него хорошая, и руки — золото, но одному ему с печкой не справиться.

Подумав еще, решила: Федор — вот кто поможет ему в этом деле. Подружкин муж. Надо их с Валентиной засылать туда, в поселок, пока бабка в больнице лежит...

— Дин, давай остановимся. Вон — харчевня. Чайку попьем.

— Давайте, ребята.

Ночная кафешка была малолюдна, большого разнообразия блюд не предлагала, но крепкий горячий чай с блинами — это как раз то, что им было нужно. Олег, чаехлеб, взял даже два стакана.

— Никит, тебе, может, тоже два?

— Не, одного достаточно.

Пили и молчали. А что тут скажешь? Стыдобища... Приехали к сынку отдохнуть, а их раз — и вышвырнули. Не в прямом, так в переносном смысле. Но обида от этого не меньше. Все эти переживания были написаны у нее на лице, и географ легко их прочитал:

— А какая тут может быть обида? Я ему не отец, а всего лишь отчим. Поздний, причем. Мы с ним и познакомиться-то как следует не успели. Помнишь — ты привела меня в дом, а он чемодан собирает.

— Чемодан собирала я, а он туда любимые книжки засовывал. Они ему были дороже институтских учеников. Вот только...

Дина вздохнула, отпила слишком большой глоток, поперхнулась. Откашлявшись, завершила мысль:

— Вот только что-то они на пользу ему не пошли.

Никита молчал.

— Ну, что — поехали дальше?

«Молодец!» — похвалила себя, выезжая на трассу. Чаек пошел на пользу — совсем успокоилась. А что, истеричкой она не была никогда. Вспыльчивой — да, это сколько угодно. Вспомнить, опять же, эту злополучную зиму.

...Валентина с Федором съездили в поселок на другой же день. И вернулись с невеселыми новостями: печь в квартире (халупе — если называть вещи своими именами) ремонту не подлежит. На стенах, действительно, иней. Вот тогда она и вспылила — так, как это умеет делать только она. Дождавшись тихого часа, попросила Федора:

— Своди меня в поселок!

Поначалу зашли на бабкину «квартиру». Увидев стены в инее, в школу она пришла уже на взводе. И в кабинете директора начала беседу с конкретного вопроса:

— Вы знаете, в каких условиях живет ваш ученик такой-то?

— Сейчас узнаем, — не заспешила с ответом директриса, но тут же вызвала в кабинет социального педагога. Вошла совсем молоденькая девчушка, робко начала объяснять:

— Ну... Никита живет с бабушкой. В школу всегда приходит чистенький, аккуратный. Учится хорошо. То есть совсем без троек...

Удивившись про себя этому обстоятельству (он еще и учиться хорошо умудряется!), вслух Дина сказала:

— Я вообще-то про условия проживания вас спрашиваю!

— Вы знаете, никаких сигналов от них никогда не поступало, — развела руками директриса. Юная педагогиня просто молчала.

И тут Дина перешла на высокие ноты:

— А почему вы ждете каких-то сигналов? А сходить самим, на все посмотреть своими глазами, слабо? Разве это не ваш прямой долг?

Директорша тоже подобралась:

— А вы, собственно, кто? Почему вы этим интересуетесь?

— Я, собственно, человек! Которому стало известно, что ученик вашей школы живет в комнате с инеем на стенах! И я хочу, чтобы вы сделали то, что обязаны сделать по штатному расписанию — позаботиться о том, чтобы ребенок жил в условиях нормальных!

— Но мы не получали никаких сигналов!

— А вы знаете — почему их нет, этих сигналов? Бабка боится, что вы ее — в дом престарелых, а его — в детдом. А они не хотят разлучаться! Они друг за друга держатся! Они родные — вы это способны понять?

Директорша — чего Дина уже не ожидала — задумалась. Потом устало сказала:

— Хорошо. Мы подумаем.

— И если ничего хорошего не надумаете, я буду звонить во все колокола! Жаловаться во все инстанции! — с этими словами она ушла из кабинета, хорошенько хлопнув дверью.

Господи, но разве не понимали они — она, Олег, Федор с Валентиной, что скоро только сказка сказывается? А мальчишке сегодня опять ложиться в холодную, чтобы не сказать, ледяную, постель? В общем, обзвонили знакомых (у самих денег не хватало — не рокфеллеры) и купили газовый генератор с баллоном. Вздохнули успокоенно: на месяц тепла хватит.

Бабку выписали в один с ней день. Они обменялись с внуком телефонами, просили держать в курсе событий. И событие не заставило себя ждать: через два дня, ночью, мальчик позвонил и сказал: бабушка умер-

ла. Они с мужем плюхнулись в машину и поехали в поселок. И провели эту ночь вместе с усопшей и внуком. Что-то говорили мальчишке, как-то его успокаивали. А он сидел рядом с бабушкой и гладил ее руки — руки, принявшие его месячным младенцем и отдавшие в жизнь шестнадцатилетним пацаном. Гладил и молчал. Только морщился время от времени, пытаясь удержать слезы.

...Почему она никогда не рассказывала этого сыну? Почему? Как смотрела она на мальчика, глядящего бабушкины руки, и думала: что он будет делать теперь — один? На что станет жить, если бабкиной пенсии уже не будет?

Еще она смотрела на своего географа. Ей казалось, что за годы совместной жизни они научились понимать друг друга без слов. Поймет ли он, что она хочет сказать ему сейчас?

— Дин, поехали домой. Надо чуток поспать — нам еще похороны предстоят.

Так, половина ее мыслей прочитана. А вторая — главная — половина? — Никит, собирайся. Поедешь с нами.

Она благодарно сжала мужу руку...

Так почему она не рассказывала все это родному сыну? В общих чертах — да: взяли к себе парнишку-сироту... ему жить негде... а мы сейчас одни... Но чтобы подробно — с тем, что она пережила... что они с Олегом пережили... Боялась — что не поймет? И, как оказалось — боялась не напрасно: мальчика, которого она уже привыкла считать сыном — приняла за ее пажа...

Он позвонит ей где-то через месяц, ее родной сын.

— Мам, ты меня прости.

— За что, сынок?..

За этот месяц в ее, в их общей с Олегом и Никитой жизни столько всего произошло, что давняя обида уже почти рассосалась. Ну, саднило где-то на самом доньшке души: думала, родным легче понять друг друга, а оказалось... Да и некогда ей было предаваться терзаниям и переживаниям. Надо было устраивать Никиткину жизнь. После ее выступления в школе педагоги наконец-то проснулись, засуетились, развили бурную деятельность. Совместно с работниками районного отдела по образованию бегом нашли папу в соседней области, выяснили запоздало, что он еще десять лет назад был лишен родительских прав. И поскольку вопрос надо было решать срочно (вдруг эта сумасшедшая посетительница и вправду начнет бить во все колокола), то совестить и даже журить они его не стали, а предложили выгодный — с их точки зрения — вариант: пусть женщина, с которой он живет, оформляет опеку над ребенком (ребенком, о котором родной папаша ни разу не вспомнил за почти семнадцать лет его жизни!), в результате чего они получают от государства немаленькие денежки. А еще Никите, как сироте — доложили папе — положено бюджетное образование в вузе (ваш мальчик заканчивает школу и учится хорошо!), а также социальная квартира, стипендия на время учебы...

При таком раскладе дел папа не заставил себя долго ждать, известил озабоченных скорейшим решением вопроса лиц о своем приезде. И вот они — Дина, Олег, Никита — едут в поселок для «исторической» встречи.

...Она смотрела на дорогу и не могла понять, когда ей было хуже: когда увидела стены бабкиной «квартиры» в инее, или когда они сидели у ее гроба и Никита гладил ее руки и морщился, чтобы не заплакать (а она редела, редела — ей, бабе можно было не стесняться своей слабости и своих слез), или... или вот в эти часы и минуты, когда они едут в поселковую школу?

Она думала о том, что если в парне заговорит голос крови и он уедет с отцом, то... что тогда делать ей?!

Если бы кто-то еще недавно сказал, что чужого мальчишку она полюбит как своего родного сына, она не поверила бы. Но это случилось. Произошло. Только какое кому дело до ее чувств и переживаний? И какое значение имеет то, что отец с сыном ни разу в жизни не виделись? Родная кровь — это родная кровь, она всегда позовет и бросит друг к другу!..

Ведь и сын, Дениска, позвонил ей тогда, потому что родная кровь в нем заговорила. И она повторила свой вопрос:

— Так за что я тебя должна простить, сынок?

— За то, что я тебя не сразу понял. Не сразу тебе поверил. И... не вступился за тебя. Ну, когда вы к нам приезжали.

— Это я виновата. Ничего толком тебе не объяснила, не рассказала. А уж тем более твоей жене.

Она говорила эти слова, а про себя думала: да, сынок, ты поступил тогда не совсем красиво. А вот сейчас, когда позвонил...

— Ладно, давай забудем! Как будто ничего не было. Пусть все будет, как прежде.

— Знаешь, что ты сейчас сделала, ма? Ты сняла с моей души камень. Скажи, как я могу загладить свою вину? Чем могу тебе помочь? Давай вышлю денег.

— Да зачем мне эти бумажки? Позвонил — вот за это спасибо.

Как она любила это его сокращенно-трогательное «ма» — от него плавило сердце...

...Они подъехали к школе: «Иди, Никиток, встречайся с папой»... Сами остались в машине. Олег сказал:

— Пусть выбирает. Мы тут ничего сделать не можем. И не должны. Ты согласна?

Она согласна. Только, если все ясно как день, отчего так болит душа? И зачем она принялась вдруг вспоминать свою жизнь? Картины мелькают, как кадры в кино. Вот она маленькая девочка — мама собирает ее в школу. Коричневая форма, белый фартук, пышные бантики в волосах — какая же это была прелесть, когда никаких современных «одевайтесь во что хотите» — и детки стали демонстрировать уровень доходов своих мамаш и папаш... А вот уже и выпускной бал — первое в жизни белое платье и первые туфли на высоких каблучках. «Я смогу в них ходить, мам?» — «А ты попробуй. Ну, получилось?» Получилось! Потом получилось (без знакомств, без взяток) поступить в институт. А на последнем курсе ее настигнет любовь. У подружек все случилось уже давно — и любовь, и свадьбы, у кого-то были уже и детки. А у нее — все на последнем курсе. Перед самой защитой диплома она поняла, что беременна. Душил токсикоз, ходила с синюшной мордой, все время готовая бежать в туалет. А он, ее будущий муж, молчал. Никак не реагировал на все это. И тогда она поняла, что надо принимать решение самой. Дети еще будут, а госэкза-

меня (считай, профессию) надо защитить сейчас. Чтобы тех, кто будет, было чем кормить...

Словом, пошла в больницу...

И вот дипломчик в руках (даже красный!), и они получили распределение на один завод в дружественной тогда республике — Украине. Сыграли свадьбу, и мальчика, Дениса, родили (пожалел ее Господь, не попомнил, милосердный, греха...), только хорошей семейной жизни не получалось. Упреки да подозрения... Один упрек ей показался особенно обидным: когда ее поставили начальником цеха, а муж остался на должности рядового технолога, то вместо поздравлений она услышала: «Ты везде прорвешься, ты такая, а могла бы с директором поговорить и уступить эту должность мне». Вот тут она и решила, что — все, хватит. Пусть у нее будет один мальчик — сын, а мальчик-муж ей не нужен.

И вот теперь — все-таки наказание? За все сразу — за аборт, за развод...

Открылась дверь. Никита вышел на крыльцо школы, пошатываясь. Господи, испугалась она, — они его что — напоили? Папаша бутылку с собой привез? Подошел к машине.

— Я его не знаю, этого дядьку. Он чужой. Родная была бабушка...

Они смотрели на него и слушали, боясь пошевелиться. Никита понял это по-своему:

— Я... вам уже не нужен?

И тогда она выскочила из машины и повисла у него на шее. Было на чем повиснуть — сынок был на голову выше нее.

Сынок — взамен того, не состоявшегося... Господь опять пожалел...

Только спустя время, когда они все отойдут от впечатлений и переживаний этого дня, она сделает неожиданное открытие: а ведь он и нас с Олегом... тоже не считает родными. Ни тогда, ни потом. Ни даже сейчас, когда не только окончена школа, но уже решился вопрос с поступлением в институт, когда, пройдя через мытарства суда, они выхлопотали для Никиты квартиру в городе. Вот и сейчас...

Этим летом они не смогли поехать в Крым, хотя Денис с Алиной их приглашали (не до того было, слишком много проблем пришлось решать), и поэтому она обрадовалась, когда Никита сказал:

— Сегодня ко мне школьные друзья должны приехать. Мы договорились встретиться в парке. Вы не против?

— А почему мы должны быть против, — ответила она. — Сходи, отдохни. А то все лето — как белки в колесе.

Принесла ему чистенькую рубашечку, сама причесала, чмокнула в щечку... А когда ушел, в сердечке кольнуло: ну, никак до сих пор не называет. Так строит фразы, чтобы обойтись без имени. Нет, Олега, как учителя, привычно называет по имени-отчеству, а ее... ее никак.

«Но ведь не ради того, чтобы он называл тебя мамочкой, затеяла ты всю эту историю», — одернула она себя. Да, случилось то, чего она и сама от себя не ожидала: она полюбила этого мальчика как родного сына, но разве он обязан отвечать тем же чувством? Он тебе ничего не должен, ничего. И еще спросила себя: а что бы ты сейчас сделала, если бы в горсад пошел Денис?

Через минуту она уже сидела в машине. Хорошо, что в парке много деревьев, и еще лучше, что много кустов — за любым можно спрятаться. Вон он, Никита, сидит на скамеечке, в окружении друзей детства. Что у них в руках? Бутылочка... И они передают ее из рук в руки. И Никита...

Она не стала — не смогла ждать — возьмет он эту бутылочку или нет, кинулась из парка вон...

До позднего вечера сидела перед экраном телевизора, ничего не видя и не слыша. Потом решила, набрала его номер.

— Никит...

Она пробовала называть его «сынок», но видела, как при этом камеленоло его лицо. И тогда она перешла на «Никит».

— Никит, послушай. Прости, но я видела сегодня твоих друзей. Не смогла удержаться — поехала в парк.

В трубке повисло молчание.

— Прости меня, прости! Я не знаю, как ты отнесешься к моим словам, поймешь ли. Но ведь ты уже взрослый, и должен хотя бы выслушать! Понимаешь, пришло время выбора. Или ты остаешься с друзьями и их бутылками, или начинаешь новую жизнь. Ты ее уже начал, хотя...

— Сегодня я останусь с ними! — резко прозвучало в трубке. Но... он не отключил связь. Значит, ждет, что она скажет дальше?

Дальше она сказала:

— Еще раз прости, что постоянно вмешиваюсь в твою жизнь... Но ты уже действительно взрослый, а значит, вправе распоряжаться своей жизнью так, как считаешь нужным.

И сама нажала кнопку отбоя.

И упала в кровать. К мужу под бок.

— Олег, я не дура?

Муж, как всегда перед сном, читал. Повернулся к ней.

— Да вроде не замечал.

— Может, он просто использует нас?

Географ ответил не сразу. Он вообще медлительный, ее муж. Когда обстоятельства жизни заставили ее вернуться на родину (началась, будь она неладна, перестройка, предприятие, на котором она работала, закрыли), она начала здесь новую жизнь, в которой, как она считала тогда, никогда не будет места мужчине. И вдруг, откуда ни возьмись (ну точно как в сказке!) возник в ее жизни географ. «Он чего не женатый-то до сих пор?» — спрашивала она подруг детства. «Да он пока соберется предложить руку и сердце — избранница, глядишь, уже замуж выскочила». Такое объяснение заставило ее взглянуться в учителя повнимательней, а взглядевшись, она поняла, что это как раз тот случай, который не надо упускать. Ну и что, что медлительный, зато, если за какое дело возьмется, сделает его до конца и хорошо, и если что скажет, то в самую точку.

Вот и тогда, на ее смятенный, а лучше сказать — отчаянный вопрос, Олег ответил — лучше не скажешь:

— Он умный, Дин. Он понимает, что без нормальных взрослых ему пока не выкарабкаться в другую жизнь.

И еще — опять через время:

— Ты все сделала, как считала нужным. Ну, а теперь пусть он сам делает, как считает нужным. А правильно или неправильно он поступит...

Нет, все-таки они прекрасно понимают друг друга! И как это хорошо. Как славно. Может, при таком раскладе им действительно больше никто не нужен?..

...Дверь скрипнула уже через полчаса. Мимо их спальни мелькнула тень — знакомая и... такая родная!

Однажды она решила вот на что...

— Никит, а давай с тобой поиграем в такую игру. На листочках бумаги напишем, как бы ты мог меня называть. Теть Дина? Но у нас в соседях две тети Дины — путаться начнем. Дина Владимировна? Но мы что — на собрании? Может, просто Дина?

Ее вдруг потянуло на юмор:

— Можно вообще без имени обойтись. Давай выберем... ну, рыбка, например. Или еще смешнее — мормышка... Положим под подушку, и утром, какое листочек ты первым вытянешь, так и будешь меня называть.

Никита серьезно спросил:

— Вы думаете, я к вам плохо отношусь?

— Ты замечательно ко мне относишься. Вот только никак не зовешь. И меня это немного напрягает.

— Разве это так важно? Когда я подписывал документы на опеку — я доверил вам ни больше ни меньше, чем всю свою жизнь. Разве не так?

— Так, конечно, так.

Она поняла вдруг, что устала от этого разговора, как от тяжелой работы. Да и ему, чувствовала она, хотелось скорее его закончить. Они и закончили. Только недоговоренность осталась. И, пожалуй, обида. Она всегда считала себя свободной от этого нехорошего свойства души, а вот, оказывается...

Вытаскивать рулончики бумаги не пришлось — в ночь у него поднялась температура, и стало не до выяснения отношений. Вызвали врача. Та посмотрела горло, прощупала живот и заволновалась:

— Похоже на аппендицит. Давайте-ка скорее в больницу.

В больницу они приехали быстро, но это заполнение бумаг... Ее оставили в коридоре («он же не маленький»), а его провели в приемный покой. Имя, фамилия, отчество... Домашний адрес... Флюорография есть? А кому вы доверяете информацию о состоянии здоровья? Диктуйте номер телефона. Он продиктовал.

— Это кто? — продолжала допрос сестра. — Чего молчите? Я должна записать.

И вот это затянувшееся молчание сыграло роль детонатора. В ней вдруг мгновенно вскипела обида.

— Мормышка! — крикнула она из коридора. — Записывайте: мормышка!

И побежала домой. Ножками. Забыв про стоявшую на стоянке машину.

Все, хватит ей навязываться в мамочки... Тем более что теперь от нее ничего не зависит: не надо кричать, не надо стучать кулаками по столу, доказывая права мальчика-сироты... Мальчик вырос! И пусть живет как хочет! А то она и впрямь превратила себя в мормышку: подцепила парня на крючок, с которого он, спит и видит, как бы слететь, сорваться...

Ее бунта хватило ровно на полчаса. Через полчаса она снова помчалась в больницу. Ей сказали, что идет операция. Все это время она стояла в коридоре, подпирая стену. Какие-то обрывки мыслей мелькали в голове. И вправду дура... Нашла время обижаться... И потом: разве это плохо, что он не хочет изменять родной, его родившей, матери? Пусть он видел ее только в первый месяц своей жизни и запомнить, конечно, не мог. Не мог запомнить маленькой своей головкой, мозгами. Но сердце... сердце-то у него уже было. И откуда мы знаем, что может помнить оно?

И с какого времени? Сердце — не умней и не справедливей ли оно так возносимого нами разума? Значит, Никита вовсе не бессердечный. Никита — слишком даже сердечный мальчик. Это она — бессердечная, если...

Из операционной вышел доктор:

— Все хорошо. Идите в палату. Сейчас его туда привезут.

Она долго ждала, пока он отойдет от наркоза, придет в себя. И вот, наконец, ее дорогой сыночек (да, дорогой, да, сыночек — пусть ни для кого больше, но для нее лично это теперь всегда будет так!) открыл глаза и... сморщился, увидев ее.

— Я не хочу, чтобы вы видели меня таким.

И она... покорно поплелась домой — ни о чем уже не думая и не рассуждая, просто выполняя его волю. Пришла, уселась на табуретку на кухне. Как побитая собака... Географ ходил вокруг и около, потом, оценив ее состояние, сам нажарил котлет. Поставил перед ней тарелку:

— Ешь.

И тут затрещал мобильный. Она взяла трубку.

— Пожалуйста, придите ко мне...

Мигом покидала котлеты в пакет и кинулась к машине. Скорей, скорей...

Вот и его палата...

Никита смотрел на нее удивленно:

— Зачем котлеты? Мне же нельзя.

И — через паузу:

— Я просто хотел, чтобы ты приехала, ма...

Она бессильно опустила на стул. Спросила себя: я... не ослышалась? А вслух не придумала сказать ничего другого, как это:

— Да я... я сама их съем! Со вчерашнего дня ничего не ела.

Он радостно улыбнулся:

— Ты всегда умела находить правильные решения, ма...

БАРЕЛИНА

— Бабушка, ты приедешь на мой день рождения?

— Не знаю...

На какое-то время в трубке повисла тишина, а потом прозвучало — горестно-прегорестно:

— Ты забыла, что у меня будет концерт!

И Нина, до сей минуты думавшая: хорошо сказать — приедешь... это ведь полстраны пересечь... а у нее аритмия, давление, — разве ребенок это понимает? — думавшая все это Нина в своих размышлениях заколебалась. А когда последовало — уже на высокой ноте, с близкими слезами в голосе и дыхании: «Вот если бы дедушка был жив, он бы обязательно приехал!» — она уже без колебаний сказала:

— Приеду! Я обязательно приеду, Ариша! Вытри свои слезки, улыбнись.

Сквозь подавленный всхлип, кажется, не прозвучало, а прошелестело:

— Я... уже... улыбаюсь!

И вот она едет. По вагонному радио звучит хорошая песня:

Я поехал, я поехал в Пе-е-тербург,
А приехал — в Ленинград...

Да, Ленинград — она не хочет называть этот город по-другому. Здесь когда-то учился Аришин дедушка, сюда потом приехали учиться его сыновья. Выучились — и остались здесь работать. Обзавелись семьями. Родили детей — их уже четверо на две семьи. Ариша — самая старшая из всех — ходит в школу.

Они разные, их отцы — Николай, Павлуша. У Николая уже трехкомнатная квартира, дача, Павлуша живет со своими в однушке. И это при том, что оба крутятся на двух, а то и трех работах. Но у Николая все тра-ты — на семью, а у Павлушки...

Они с мужем радовались за старшего и пытались вразумить младшего:

— Павлуш, доброта — это хорошо. Но у тебя она переходит границы разумного. Одному человеку не под силу осчастливить все человечество.

Они знали, о чем говорят: Павел постоянно генерировал какие-то несбыточные, неосуществимые, на их взгляд, проекты, в реализации которых нисколько не сомневался. Сейчас, например, он вынашивает такую идею: завозить в Питер экологически чистые продукты — дары садов. Яблоки, вишню, груши, виноград, дыни... Странной кажется не сама задумка, а то, как он думает все эти ягоды и фрукты реализовывать: малоимущим — по самой низкой, точнее даже сказать — мизерной цене, а людям состоятельным предлагать такой вариант: платите, сколько не жалко. Он верит, что не жалко будет многим — это и возместит разницу в цене для одних и других...

— Да где ты видел щедрых состоятельных людей? Они потому и состоятельные, что копейки зря не отдадут, — втолковывала ему Нина.

Павлушка в ответ только улыбался: подождите, мол, еще увидите, кто был прав...

— Внимание, граждане! Наш поезд прибывает...

Прибыла! На вокзале ее встречают все — большие и маленькие. Объятия, смех, опять объятия... Как хорошо, когда все вместе! И снежок с неба падает такой же, как в ее родном среднерусском городке — крупный, белый-пребелый, как и положено предновогоднему снежку... Но — надо разъезжаться. Павел сейчас отвезет семью домой и помчится на работу, Николай — сразу на работу; домой их повезет его жена — Наташа. Ариша сияет глазами-звездочками и льнет к бабушке, маленькая сестренка сопит в кресле.

— Бабушка, как я рада... Концерт уже сегодня. Там будем выступать не только мы — первоклашки, но и настоящие взрослые барелины.

Они, конечно, пытались научить девочку произносить это слово, как надо: «Ариш, правильно будет — ба-ле-ри-на». «Ба... ба... ре... — добросовестно пыталась повторить внучка. И с горечью заключала: — Нет, не получается!» А потом уже с обидой: «Как вы не понимаете, так тоже правильно!..»

Большой концертный зал был заполнен до отказа: взрослые пришли посмотреть на своих дорогих и любимых чад — будущих звезд российского (а может, и мирового!) балета. Только Аришины приглашенные занимали почти весь ряд: мама Наташа, папа Николай, сестренка Амелия; далее следовала семья Павла: папа, мама, их детки Алесья и Артем. Она, бабушка, сидела в центре, наслаждаясь близостью всех родственников сразу!

Ах, какой милой была Ариша в роли маленького лебедя! Все девочки были миленькие, но внучка... Не зря же она с гордостью говорила: «Бабушка, у меня самая лучшая в группе растяжка!..» Она не хвасталась — она хотела, чтобы в нее верили. Так, как верит в свое будущее она сама: «Вот увидите — я буду барелиной!..»

После выступления «барелина» прибежала в зал, села с ней рядом. Нина не стала медлить с похвалой:

— Ты молодец! Так замечательно танцевала! — прошептала ей на ушко. — А учиться... ты успеваешь учиться так же хорошо?

Ариша искоса посмотрела на маму, потом — тоже шепотом:

— Попробуй у нашей мамы не успеи! Она строгая.

И вдруг переменяла тему:

— Бабушка, а ты дедушку не забыла?

— Что ты, Ариша. Каждый день вспоминаю. И плачу.

— А вот плакать не надо.

— Почему?

— Потому что дедушка...

Ариша не договорила фразы — на сцену вышли взрослые балерины, и внучка, мгновенно переключив внимание на них, восторженно прошептала:

— Бабушка, бабушка, ты посмотри — они летают! У них, наверное, крылья есть, только мы не видим.

Помолчав, уточнила горестно:

— Почему-то не умеем видеть.

Что она могла сказать на это? Что крылья — это ее фантазия? Фантазия маленькой девочки. А вот когда она вырастет... Нет, ни за что! Ни за что на свете ничего такого она не скажет.

Да и так ли уж она не права, ее маленькая внучка? Нине вдруг пришла в голову странная мысль: сотворение мира происходит с рождением каждого нового человека. Происходит — потому что он приносит с собой в этот мир что-то новое, небывалое, иначе — какой смысл в его появлении? Это новое не всегда и не у всех проявляется, в это новое иногда не верят даже самые близкие, самые родные люди (может, потому оно и не проявляется?..)

А кроме того, маленький человек открывает мир заново. То, что было до момента его появления на свет — ему до поры до времени неизвестно. Как многое неизвестно Арише. Например, то, что никакая она ей не бабушка. Настоящая бабушка, мама братьев Николая и Павла, умерла, когда они были еще меньше, чем она, Ариша, сейчас. И мальчишки долго жили вдвоем с отцом. Он понимал, конечно, что без женской руки и заботы все у них в доме не совсем так, как надо для маленьких детей, и потому предпринимал попытки найти замену жене, их маме. Только вот все эти «замены» оказывались какими-то однобокими: одна умела наводить чистоту и порядок в доме, но ленилась готовить еду, другая умела и то, и другое, а не могла приласкать неродного ребенка...

«Мамы» менялись, а дети росли. Пошли в садик. Пошли в школу... У папы была работа, которая требовала отдавать ей все время, все силы. И сыновья сами научились разбираться сходящими мамами: однажды очередная из них пришла домой и... не нашла под ковриком у двери ключ. Мальчишки наблюдали за ней из-за забора и радовались, что она больше не войдет в их дом. Никогда-никогда.

Но вот однажды... Однажды в их дом пришла женщина, совсем-совсем похожая на их настоящую маму. Она сначала прибралась, потом

приготовила ужин и, прежде чем позвать братьев к столу, погладила каждого по голове:

— Ребята, папа сегодня задержится на работе, пойдемте кушать.

Голос у новенькой замены был ласковый, как... у мамы. И они впервые за долгое время пошли к столу с радостью. А тут оказалось, что с новенькой можно и тарелку опустошать, и беседовать одновременно. И никто тебе не скажет: ешьте скорее, да за уроки... За уроки они сами потом шли, без всяких напоминаний, и тетя Нина их потом проверяла и, если делала замечания, то, опять же, таким ласковым голосом, что хоть снова напрашивайся на него, новое замечание!..

Все это они рассказали ей потом, а она еще долго дрожала, боясь, что — не примут, не поверят...

На другой после концерта день бабушка Нина и мама Наташа вместе с девочками пошли в магазин за подарком для именинницы. Арише Нина сказала:

— Я куплю тебе, что ты захочешь сама. Так что выбирай.

Аришины глаза сияли от радости. Ах, какие куклы стояли на витринах! Но, может быть, она уже не маленькая — пусть и первоклашка, но все же школьница? Нет, просто все дело в том, что у нее уже есть Майя, любимая Майя. Когда-то она была просто пышноволосяй красавицей, но они с мамой пригладили ей волосы и причесали его на прямой пробор, а потом сняли с нее длиннополое платье и заменили его на балетную пачку (мама сама сшила), после чего просто красавица превратилась в барелину. Ариша тут же стала сажать куклу на шпагат: «Учись, учись, ты же Майя». — «Пусть пока и не Плисецкая», — иронично добавляла строгая мама. И неожиданно улыбалась...

Словом, никакая другая кукла внучке была не нужна. Остановилась она возле игрушечного домика. Впрочем, какого игрушечного, если он был такой большой, что уместиться в нем они могли бы вместе с Майей. В домике было настоящее окошко с занавеской, а еще маленький столик и маленькая кушеточка — все, все как в настоящем доме!

— Вот! Я хочу этот домик! — торжественно объявила внучка.

— Понравился?

Аришины глаза сияли, когда она, не в силах вымолвить еще хоть слово, кивнула головой. Зато строгая мама Наташа почему-то хмурилась. Хмурым же голосом она проговорила:

— Давайте посмотрим сначала, сколько он стоит.

Нина отложила на подарок большую сумму — целых пять тысяч рублей. Но когда она глянула на ценник, аккуратно приклеенный к дверце домика... У нее вдруг закружилась голова. Конечно, это давление...

— Вам плохо, Нина Александровна? — заметила ее состояние невестка. — Знаете что, идите-ка вы с Амелией домой. Мы с Аришей сами решим вопрос с подарком.

— Вот... деньги, — Нина протянула невестке купюру, которая еще недавно казалась ей такой значительной...

Девчонки, однако, пришли из магазина веселые, шумные, с улыбками на лице.

— Бабушка, смотри! Какая чудесная курточка — я буду набрасывать ее на плечи во время перерывов на репетициях. Мы садимся отдыхать потные, а в спину всегда откуда-нибудь дует. А какие красивые новенькие чешки... а какие чудесные новенькие гетры...

Нина думала, что день рождения внучки будет отмечаться дома, но оказалось — сейчас так не принято. Принято отмечать в специальных детских кафе, куда и приглашаются маленькие и большие гости. Нина взгрустнула по этому поводу, но... если так теперь принято... Нарядили именинницу. Бабушка и мама тоже надели праздничные платья. Пока шли до кафе, Нина размышляла. В ее детстве дней рождений не отмечали. Не на что было. Только в старших классах пошла мода: накрывать стол для одноклассников. Разве забыть, как они пришли в ее день рождения с подарками? В основном это были книги, а Вовка Ивонин принес пластинку. Нынешние молодые люди представления не имеют о пластинках. Сейчас — гаджеты. А у них был приемник «Рекорд», на котором можно было слушать пластинки.

Слышно мне-е в тишине-е,
Как минуты разлуки уходят,
И плывут надо мной
Словно годы, плывут облака-а...

Господи, что они тогда знали про годы... и про разлуки... На столе стояло нехитрое угощение, по маленьким рюмочкам разливали легкое красное вино. И — танцевали! И было так хорошо — оттого, что рядом твои одноклассники, и все друг друга знают, и все друг с другом говорят, и никаких тебе масовиков-затейников...

...Кафешка оказалась маленькой и уютной, торжество вел симпатичный рыжий клоун. Клоун, очень похожий на Карандаша. Вот он-то и рассеял ее сомнения: разве плохо, если детишек веселит хороший человек и хороший артист (человек и артист в понятии Нины были понятиями тождественными, хотя нынешняя жизнь не раз убеждала ее в обратном, но Карандаш — это оттуда, из детства, он не может быть плохим...).

Потом к ребятам выходили другие, не менее симпатичные сказочные герои, главными среди которых были Дед Мороз и Снегурочка — а как иначе, если совсем-совсем скоро Новый год? Нине стало стыдно за свое первоначальное настроение. Вот Николай (мужа, как и старшего из сыновей, звали Николай) сразу бы принял все. Он был такой — душа нараспашку и всегда открыта всему новому и доброму. И всегда — в заботе о близких людях. Как он переживал перед уходом: «Нин, как ты без меня будешь чистить снег во дворе?» Но первая — без него — зима стояла такая бесснежная. «Это Николай похлопотал, — сказала по телефону его сестра. — У него и ТАМ за тебя душа болит...»

— Нина Александровна, чего задумались?

— На деток люблюсь. И... Николая вспомнила.

— А знаете, у нас на даче летом миндаль цвел. Уже в первое после посадки лето!

Наташа долго не любила дачу: «Зачем она нужна? Все деньги уходят на нее. А ведь Арише столько всего нужно для балета».

И вот — довольна:

— Я теперь в дачу просто влюблена. Детям так хорошо: свежий воздух, зелено кругом. Деревья и цветы нас учил сажать как раз Николай Федорович. Правильно учил, если миндаль зацвел...

Под конец жизни муж расширил круг своих забот — стал участвовать в восстановлении городского храма. Нина поначалу смеялась: бывший начальник грозной службы ходил по организациям и учреждениям «с протянутой рукой», выпрашивая деньги на строительные работы. Нет,

выпрашивал — не точное слово. Однажды она его прямо спросила: ты не испытываешь неловкости, ну... когда... «Нин, если бы для себя...» Для себя он ничего не умел: разве она не видела, в каких особняках живут его коллеги? А он как вселился с двумя ребятишками в трехкомнатный «рай» — так и не менял его уже никогда. Вот почему, когда они особенно сильно допекали младшего сына своими наставлениями и увещеваниями, тот останавливал их одним-единственным вопросом: «Пап, а разве не ты научил меня быть таким?..»

О, как бы радовался дедушка на сегодняшнем дне рождения внучки! Когда все они, как на концерте, опять все вместе! Каким бы счастливым он был!

Павел словно угадал ее мысли.

— Детки, внимание! Я хочу вам немного рассказать о дедушке нашей именинницы. Его здесь нет...

— ...потому что он уже на небе! — вскричала Ариша.

— Да, на небе. А если бы был здесь, то любовался бы на вас и верил, что вы вырастаете очень хорошими людьми. Он и сам был хорошим человеком...

На улицу вышли уже в сумерках. Опять падал снег — крупный, белый-пребелый. Ариша, подставив ладошку под снежинки, замороженно прошептала:

— Это дедушка мне подарок прислал. С днем рождения и с Новым годом поздравил... Бабушка, ты все-таки плачешь?

— Нет, Ариша, не плачу. Это снежинки растаяли на моем лице...

Уже поздно вечером, перед сном, она зашла в Аришину комнату. Та лежала, обняв свою любимую Майю. Прочитала внучке сказку. Потом спросила осторожно:

— Ты не обиделась на меня?

— За что, бабушка?

— За то, что я не купила тебе домик для Майи.

Внучка покаянно опустила глаза:

— Бабушка, я такая глупая... Мы с мамой на твои денежки купили столько нужных вещей. Для балета. Для балета — это самое нужное. А нам с Майей и так хорошо.

Ариша еще крепче прижала куклу к себе и довольно вздохнула. Потом продолжила:

— А домик... Я куплю его, когда стану настоящей барелиной. И заработаю мно-о-го-много денег.

— Ну, тогда тебе ни кукла, ни домик для нее уже не будут нужны.

— Ты думаешь?

Спросила — и всерьез задумалась. А после долгого молчания тихо произнесла:

— Но ведь тогда у меня будет своя маленькая дочка. Понимаешь?..

КОНФЕТКИ-БАРАНОЧКИ...

...И зачем он так сказал Полинке? Что, других слов не мог найти — более обтекаемых, менее резких? А теперь вот сиди, терзайся угрызениями совести. Хотя, по правде сказать, сказал он именно то, что нужно. Почему он должен ради кого-то изменять своим принципам? Пусть даже это будет однокурсница Полинка...

Он рассчитывал сегодня хорошо поработать. Ему нравились такие вот вечера: приехать в офис в выходной день, к вечеру, и знать, что никто не откроет дверь его кабинета ни по важному, ни по пустяковому вопросу, не будет трезвонить надоевший городской телефон, — словом, он будет как бы отрезан от суетного мира. От звонков по мобильной связи сейчас не спасешься нигде; ну, так их будет хотя бы меньше. А значит, удастся более-менее спокойно разобрать текущие бумаги, погрузиться в отложенную на сумасшедшей неделе рукопись понравившегося (редко, ох, редко происходит это в последнее время) автора, а может случиться так, что и сам вдруг возьмет лист чистой бумаги и, как в добрые студенческие времена, начнет заполнять его убористым почерком неожиданных, невесть откуда свалившихся на него строк... А что, если сегодня именно с этого и начать? — ему пришла в голову даже такая счастливая мысль. Тут и раздался телефонный звонок. Он поколебался минуту (ну кто сейчас, в выходной вечер... он имеет полное право не реагировать...), но — привычка свыше нам дана. Поднял трубку и услышал полузабытый голос однокурсницы.

Полинка застала его, конечно, врасплох. Сто лет не звонила, а тут вдруг налетела, как ураган, залепетала счастливым голосом:

— Понимаешь, мои рассказы набрали в инете очень много положительных читательских откликов. Очень много! Причем большинство из них прямо-таки восторженные! Скажи, я могу издать книгу?

Он тут же сообразил, что бывшая сокурсница, конечно же, рассчитывает на его участие, его помощь, и это его разозлило: прощай, свободный вечер... Поначалу он все-таки пытался быть корректным:

— Ты думаешь, это так просто?

— А какие могут быть сложности, если читатели...

Вот тут он и начал заводиться. Сколько можно... не пора ли уже уметь, приходиться в соответствие с возрастом, в котором они — вот с этим точно ничего не поделаешь — оказались?

— Ты хочешь получить честный ответ? Так слушай: мнение читателей современного издателя интересует меньше всего.

— Меньше всего? — ошарашенно спросила Полинка. — А что же тогда его интересует?

Ледяным голосом он отчеканил:

— Прежде всего, возьмет ли твою книгу на реализацию торговая сеть.

— Торговая сеть? А при чем здесь торговая...

И вот тут он уже натуральным образом взорвался:

— Ты что, живешь под стеклянным колпаком? Да еще с накинутой сверху тряпкой? Ты сходи в книжный магазин, посмотри, кого сейчас читают и покупают. У тебя что — любовный роман, детектив, фэнтези? Ах, рассказы... и повестушечки... Рассказы и повестушечки никому не известного автора. И ты думаешь, что кто-то захочет раскрыть ради них свой кошелек?

Трубка в ответ онемела, а потом раздалась гудки. Полинка отсоединилась...

И вот теперь он ходит по кабинету, уже не меряя на количество шагов его длину и ширину: все это измерено тысячу раз. Заварить чай? Вот это будет, пожалуй, разумнее всего: спокойно попить чаю. И попытаться вернуть настроение, с которым сюда приехал.

Пока чай настаивается (он давно уже не пьет черный, от которого

может повывиситься давление — только зеленый, только «Яву» — пыль, на давление никак не могущую повлиять, — терпкий, с горчинкой — и на том спасибо). И так, Полинке он сказал то, что хотел сказать. Точнее даже так — что необходимо было сказать. И разве можно было поступить иначе? Иначе до нее ничего бы не дошло, она ничего бы не поняла.

Полинка была на их курсе самой молоденькой и самой малозаметной студенткой. Да и чем она могла выделиться, вчерашняя деревенская девчонка? Уроки в школе учила прилежно, вот и забила себе в голову, что сумеет поступить в лучший вуз страны. И — поступила. Тогда, в пору их юности, это было возможно — без всяких там взяток, протекций, знакомств. Поначалу на семинарах она краснела и бледнела, поражая всех своим деревенским выговором и косноязычием, но потом поднатерела, начиталась нужной литературы (как и в школе, она делала это усердно), и уже ко второму курсу обнаружилось — некоторые из столичных студентов отсеялись, а она, деревенская, осталась.

Словом, мозги у девчонки работали, а вот с общим развитием было хуже. Человек — это ведь не только мозги...

Полинке не хватало способностей правильно оценивать реалии окружающего мира. Ходит, смотрит вокруг себя застенчивыми и одновременно восторженными глазами... В музее такие глаза уместны. В театре — куда ни шло. Но жизнь-то, жизнь — она куда сложнее и учебных программ, и музеев, и самых удачных театральных спектаклей.

Наивная, инфантильная — это он понял про нее сразу. Ну, в молодости они все этим грешили. Но потом-то, потом, когда в стране началось такое, что опрокинуло все прежние представления о мироустройстве... и даже о человеческих отношениях вообще... Встречаясь с однокурсниками, он видел и понимал: народ взрослеет, народ трезвеет (трезвеет в плане адекватной оценки происходящего, а пьет-то, конечно, все больше и больше...); она же, Полинка, по-прежнему произносит возвышенные слова и речи, уносясь в этих речах в какие-то немислимые, потерявшие прежние очертания и очарование дали...

А его жизнь текла по другому руслу. Хотя, если разобраться, по происхождению он тоже наполовину деревенский: матери было шестнадцать лет, когда она отправилась из маленькой тверской деревушки на заработки в Москву. Маму растила бабушка, бабушка Геня (Евгения Дмитриевна), муж которой погиб на войне, оставив на ее руках шестерых детей. Кормились лесом-огородом: все, что здесь удавалось собрать, бабушка несла на райцентровский базар. И все равно денег не хватало. Вот почему однажды его будущая мама Галина прибежала домой радостная: «Меня приезжие москвичи в няньки берут!» Так мама Галя стала работать в Москве. А потом вышла здесь замуж. А потом родился он — по праву прописки уже столичный житель.

И все-то у него складывалось хорошо: окончил московскую школу, отслужил в армии, поступил, как и Полинка, в лучший вуз страны. Только, в отличие от Полинки, краснеть и бледнеть на семинарских занятиях ему не пришлось: столица дала ему все, что требовалось для жизни, и прежде всего — уверенность в своих силах и способностях. Он вдруг улыбнулся, вспомнив, как мать рассказывала ему, что в Москву она шла босиком — на обувь еще предстояло заработать. А он вышел в жизнь уже в ботинках, пока еще не кожаных, но удобных и крепких. Сначала эти ботинки топали по коридорам столичной газеты, потом друзья переманили его в книжное издательство, где он окончательно и за-

крепился, уверенно переступая с одной служебной ступеньки на другую. Причем не благодаря чьему-то покровительству, а всего добиваясь сам. Мозги у него, как и у Полинки, работали, а окружающую действительность, в отличие от нее, он сканировал безошибочно. Нет, нельзя сказать, что все и всегда ему давалось легко, особенно с перестроечных времен. От чего-то пришлось отказаться, с чем-то согласиться, что-то — чужое — принять как свое.

Черт... Если бы в молодости кто-то сказал ему, что он на все это пойдет... А что было делать? Появилась семья: жена, дети, а потом и внуки. И всех надо кормить, поить, одевать. Да, душа ныла, болела от разлада с самой собой, но он поставил ее на место вопросом: мужик я или не мужик?! А мужик — это, прежде всего, характер!

Отхлебнув из чашки, он с досадой отметил, что чай остыл. Передержал... Ох, уж эта Полинка... Заставила его вспоминать то, что он предпочел бы забыть раз и навсегда. И чтобы окончательно отсоединиться от этих воспоминаний и даже от самой Полинки, раздраженно спросил себя: ну, о чем она может писать в своих рассказах, если представления не имеет о вкусах избалованной столичной публики? Что она может ей предложить? Живет в своей тьмутаракани, поет, как акын, провинциальные песни и почему-то считает, что кому-то они могут быть интересны.

Хотя... что она там говорила про читательские отклики? Значит, кто-то на нее все же запал?

Бог ты мой, он уже, кажется, перешел на молодежный сленг... К чему бы это? Уж не заварить ли по новой чай?..

Выливая содержимое кружки в раковину, он неожиданно подумал: слушай-ка, ты сам несколько минут назад признался себе, что хорошая рукопись теперь — редкость. Редкость! Мало того, однажды в его руки попал роман весьма популярной в столичной среде авторши, в виде рукописи, естественно. Читал он ее, читал... пока не почувствовал, что его тошнит. В прямом смысле слова! Отбросил рукопись в сторону — и сразу отлегло... Вызвал секретаршу, велел ей ответить автору деликатным (а попробуй ответить резко — еще и судиться будешь!) отказом. А через некоторое время узнал, что отвергнутая им писательница не только издалась в другом издательстве, но и получила за свое сочинение престижную литературную премию. Он был в бешенстве: да ведь одного — одного! — ее романа достаточно, чтобы развратить целую нацию! Может, он чего-то не понял? Может, отстал от жизни? Заставил себя дочитать рукопись до конца — и от других романов того же автора, когда они попадались ему на глаза, уже брезгливо отводил руки. И думал даже такое: если литература — вторая реальность и если такая вот реальность со временем будет только крепчать и шириться, как цунами, то не поглотит ли она, в конце концов, реальность первую, задуманную и осуществленную самим Создателем?..

Какой уж сегодня чай... Похоже, надо отправляться домой. Разве у окна еще постоять немного...

За окном сверкала разлитыми огнями Москва. А в тверской Подосиновке — подумалось почему-то — сейчас темно, редкий прохожий покажется на улицах. Или там что-то изменилось в лучшую сторону? Впрочем, откуда ему знать, если давно в тех краях не был. К кому ехать? Бабушки Гени на белом свете давно нет. А ведь до школы он почти постоянно жил у нее. И когда пошел в школу — проводил в деревне каждое лето.

Подосиновка была ему такой же родной, как и Москва. Может быть, даже роднее...

Вот интересно, что бы сказала баба Геня, вздумай он прочитать ей роман, от которого даже его, на своей должности привыкшего к разному чтению, затошнило. Ой, да понятно, что бы она сказала... А дядя Ваня и дядя Петя? Эти бабушкины одногодки вернулись с войны без ног: дядя Ваня без левой, дядя Петя — без правой. Весной они вместе шли в сельмаг покупать себе обувь. Покупали пару ботинок, и делили их там же, у магазина: один брал обувку на левую, другой на правую ногу (вторую им заменяли самодельные деревянные протезы). Он был однажды свидетелем этого разбора, его поразило то, что мужики не злились, не жалелись на судьбу, — нет, они еще и подшучивали над собой, еще и пересмеивались... Вот их бы он даже спрашивать не стал про тот злополучный роман, потому что не дал бы им его и читать: зачем? Нельзя у таких людей отнимать возможность думать, что все было не напрасно.

И вдруг ему вспомнились стихотворные строчки — нет, не свои, а какого-то провинциального поэта (не плачь, провинция — ты тоже проби- ваешь иногда асфальт столичного города!), и запомнились потому, что сильно его смутили.

Не потому, что годы пролетели,¹
Не потому, что молодость прошла...
Еще жива истома в сильном теле,
Еще зовут в ночи перепела.
Не потому, что многие печали,
Не потому, что дни — как жернова...
Еще дружу с бездомными ночами,
Еще шепчу безумные слова.
Но жжет гортань сухой огонь рыданий,
Но судорогой губы сведены —
Не потому, что мало оправданий,
А потому, что не избыть вины.

Ему помстилось тогда, что стихи написаны... про него. Что провинциальный пиит, сам того не ведая, заглянул в его даже не сознание (здесь все под контролем!), а подсознание, которое, казалось ему, он тоже сумел себе подчинить.

...Ну, Полинка! Разбередила душу. Прямо катарсис учинила в ней. Домой, домой! К привычному креслу у привычного рабочего стола, к уютной лампе с зеленым абажуром.

Уже в лифте, глядя на себя в зеркало и сегодня себя не узнавая (а Полинка — узнала бы?), он с грустноватой усмешкой вспомнил, что у восторженных полинкиных глаз в их студенческие годы был еще и такой предмет для обожания: она была поклонница пения под гитару, и когда он, усевшись на подоконник открытого общежитского окна (девчонки любили встречать гостей-москвичей), ударял по струнам и во всю молодую глотку заводил: «Конфетки-бараночки, словно лебеди, саночки...» — ее глаза, как в той сказке, становились не меньше блюда...

¹ В рассказе цитируется стихотворение воронежского поэта Александра Нестругина.

И чего она не зацепилась в столице (многим девчонкам это вполне удалось), зачем вернулась в свою деревню? Ну, не в самую деревню, конечно, в райцентр, но ведь наверняка каждую неделю навещает свою родню. Она, кажется, говорила, что и пишет-то о них — сельских жителях.

Странная мысль забрезжила в голове: Полинка... Поле... Сдается ему, что у его однокурсницы со словом «родина» даже корень один. И грамматические правила здесь совсем ни при чем, буквы и звуки не имеют никакого значения. Значение имеет совсем другое, лично ему ставшее вдруг понятным именно сейчас...

И если он мужик... то не попросить ли Полинку прислать свою рукопись? Для начала — хотя бы для прочтения...

